

18+

Николай В. Нелидов



ПРО ЖУКОВ И ЛУНУ

сборник рассказов

Николай В. Нелидов

**Про жуков и луну.
Сборник рассказов**

«Издательские решения»

Нелидов Н.

Про жуков и луну. Сборник рассказов / Н. Нелидов —
«Издательские решения»,

В сборнике «Про жуков и луну» автор исследует хрупкость человеческих связей и комизм повседневности. Герои — художники, писатели и «цифровые кочевники» — балансируют между творчеством и бытом, сталкиваясь с предательством, одиночеством и экзистенциальной пустотой. Ирония и гротеск переплетаются с лиризмом: здесь и попытка написать «Луну Правды», и забытый Йоулупукки, и метафоры торричеллиевой пустоты. Это истории о том, как важно, отринув иллюзии, найти свой подлинный свет.

© Нелидов Н.

© Издательские решения

Содержание

Про жуков и Луну	6
Все забыли про Йоулупукки	10
Торричеллиева пустота	14
Пафос и Гумус, или компот для Александра Македонского	18
Глава 1. В которой нас знакомят с храмом словесности и его жрецами	18
Глава 2. В которой Сережа отправляется на поиски истины, а находит нечто большее	20
Глава 3. В которой Анатолий Маркович объявляет войну миру, а Марина Аркадьевна — безобразию	21
Глава 4. В которой появляется нечто, не предусмотренное сметой	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Про жуков и луну

Сборник рассказов

Николай В. Нелидов

Дизайнер обложки автор

© Николай В. Нелидов, 2026

© автор, дизайн обложки, 2026

ISBN 978-5-0071-3333-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Про жуков и Луну

Фамилия его была Жуковсков. Ну ладно бы Жуков или, на худой конец, Жучков, а так... Будто его предка, отчаянного семинариста, во время раздачи фамилий заела надоедливая муха, и он, замешкавшись, получил нечто среднее между насекомым и названием провинциального города. Эту фамилию Виктор Викторович таскал всю жизнь, как мешок с гнилой картошкой, и к шестидесяти с лишним годам она въелась в него намертво, определив и сутуловатую, жучью осанку, и вечную готовность втянуть голову в плечи от очередного жизненного щелчка.

Щелчки же, надо сказать, сыпались на него с завидным постоянством. Особенно здесь, на даче в Жаворонках, которая больше походила не на место отдыха, а на гигантский, заброшенный холст, засиженный мухами, опутанный паутиной престарелых амбиций. Мастерская, пристройка с огромным окном во всю стену, была единственным оплотом его суверенитета. Здесь пахло масляными красками, скипидаром и затхлой славой — той самой, что остается от бывлой известности, как запах дорогих духов от пустого флакона.

И была в этом царстве запахов и теней своя царица — Лиза, его дочь. Ей было одиннадцать лет, но по интенсивности существования она перекрывала с лихвой всех обитателей дачного поселка, вместе взятых. Она влетела в мастерскую, как шаровая молния в широченных штанах и с бантом размером с парашют.

«Пап! Папка! Ты не представляешь!» — закричала она, не дав ему оторваться от мольберта, на котором отец пытался реанимировать очередной пейзаж. — «Мама опять красится! Я видела! Тени! И губы! В половине шестого вечера! Это же ненормально!»

Виктор Викторович вздохнул и отложил кисть. На палитре краски подсыхали с таким видом, будто и не надеялись на лучшее.

«Лиза... Может, у нее... встреча?» — пробормотал он, чувствуя себя предателем.

«Встреча!» — фыркнула дочь, сверкнув на отца глазами, в которых плескалась безграничная, почти истеричная преданность. — «Она встречается с этим... своим меценатом! С этим Артурчиком! У которого машина цвета больного зуба! Я все знаю!»

«Галеристом, Лиза, не меценатом. И, кажется, называть его Артурчиком не совсем уместно».

«Артурчик!» — стояла на своем царица. — «Он на тебя похож. Только моложе. И волосы есть. И он не ходит в растоптанных тапках помнящих динозавров».

Вот это было ударом ниже пояса. Ниже всех поясов. Виктор Викторович машинально посмотрел на свои ноги, обутые в войлочные шлепанцы, из которых торчали пальцы с желтыми ногтями, похожие на старые грифели. Да, и с волосами была беда. А с Артуром, галеристом новой формации, который говорил «круто» и «дико» даже о мазне какого-нибудь авангардиста, изображавшего банки с томатной пастой в окружении разноцветных чипсов, — беда была еще большая. Он, Жуковсков, когда-то писавший портреты депутатов и лауреатов всех мастей, теперь был никому не нужен, кроме как этому самому Артуру, который вел переговоры в основном с Ольгой, его женой.

Мысль о жене заставила его вздрогнуть. Ольга... Оля... Ее красота, когда-то ошеломляющая, как неожиданный удар молнии, теперь стала похожа на последствия этого удара — все то же напряжение в воздухе, но света уже нет, только грозовое предчувствие и полуобморочное состояние. Их брак давно превратился в нечто среднее между стендапом и затяжной позиционной войной на истощение. Он был морально истощен и проигрывал по всем направлениям.

Вечером грянул скандал. Ни о чем, по пустячному поводу. Не громкий, не яростный, а тихий, шипящий, как проколотая шина.

«У меня встреча с Артуром, — сказала Ольга, после короткой перепалки стоя на пороге гостиной в легком, как дымка, платье, от которого пахло дорогим и незнакомым Виктору Вик-

торовичу парфюмом. — Он нашел спонсора для организации твоей персональной выставки-продажи в пафосной галерее на Рублевке и заглавной картиной будет твой «Сентябрьский этюд».

«Этюд»? — удивился Виктор Викторович. — Но это же... одна из моих лучших работ».

«Именно поэтому все и крутится вокруг нее, Витя. Это называется успех. Ты помнишь такое слово?» — ее голос был сладок, как сироп, и ядовит, как яд кураре.

В дверном проеме, как тень, возникла Лиза. Она смотрела на мать с таким ужасом и негодованием, будто та собралась не на деловую встречу, а на шабаш.

«Мама, ты же обещала...» — начала она.

«Лиза, взрослые разговаривают!» — отрезала Ольга, в ее тоне зазвучал металл. — «И приберись у себя в комнате, там хлев».

Дверь захлопнулась. Воцарилась тишина, густая и тяжелая. Лиза подошла к отцу и молча уперлась лбом в его жилистую, пропахшую красками ладонь. Он почувствовал, как по его руке скатывается горячая, круглая, как бусинка, слеза.

«Не плачь, звездочка моя», — прошептал он, с ужасом думая о том, что «Сентябрьский этюд» был написан двадцать лет назад, в ту самую осень, когда он влюбился в Ольгу.

«Пап, а давай... давай сделаем что-нибудь!» — вдруг выдохнула Лиза, поднимая заплаканное лицо. — «Давай напишем картину! Самую лучшую! Прямо сейчас! Смотри, какая луна!»

Она подбежала к окну и распахнула штору. И тут Виктор Викторович ахнул.

Луна висела над темными елями огромная, неестественно большая, будто кто-то прилепил на небо гигантский монокуляр, через который само Провидение разглядывает нелепую жизнь семьи Жуковских. Она была ослепительно яркой, холодной и одинокой.

«Вот! Видишь? — восторженно прошептала Лиза. — Она как... как прожектор! Она освещает всю ложь! Давай нарисуем ее! Луну Правды!»

Идея была до того безумной, искренней и грандиозной, что Жуковсков, этот старый, уставший жук, вдруг почувствовал странный прилив сил. Да, черт возьми! Он напишет эту луну! Он выставит ее Артуру и скажет: «Вот, полюбуйся, мальчик, это и есть настоящее искусство, а не твои банки с пастой и чипсы!»

Он лихорадочно засуетился, стал готовить краски, холст. Лиза, сияя, таскала ему тюбики, мыла кисти в ацетоне, напевала что-то под нос. Они были заговорщиками, творцами, отцом и дочерью против всего лживого мира.

В самый разгар их импровизированного творческого сеанса в дверь постучали. Стук был настойчивый, сердитый. На пороге стоял сосед, Пал Палыч, заслуженный пенсионер метрополитена, фанат Елены Блаватской и своих розовых кустов. Лицо его было искажено праведным гневом.

«Виктор Викторович! — начал он, не здороваясь. — Ну что за безобразие! Опять у вас свет горит до упора!»

«Я работаю, Пал Палыч, — попытался парировать Жуковсков. — Вдохновение, понимаешь ли».

«Какое, к черту, вдохновение! — всплеснул руками сосед. — Из-за вашего вдохновения все местные жуки слетаются на свет! Весь розарий ими усыпан! Они же там все объедают! Вы мне всю изотерику, тьфу, флористику, ну или как там ее, нарушаете!»

Лиза, стоя за спиной отца, скривилась.

«Дядя сосед Пал Палыч, — сказала она сладким голосом, — а может, это не наши жуки, а ваши розы такие... ароматные, что они сами летят?»

Пал Палыч фыркнул, бросил последний уничтожающий взгляд на не характерный в последнее время для соседа гигантский холст с намечавшимся лунным диском и удалился, бормоча что-то о бескультуре, вредителях и вселенском противостоянии добра и зла.

Жуковсков закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Внезапно он почувствовал дикую усталость. Он смотрел на свою дочь, на ее восторженные глаза, на зарождающуюся картину, на эту дурацкую, прекрасную луну за окном. И его осенило. Он — это и есть тот самый жук. Жук по фамилии Жуковсков. Он всю жизнь летел на какой-то свой свет: на славу, на любовь Ольги, на признание. А в итоге бился лбом о холодное стекло непонимания, измен и ничемных соседских претензий. Его жена летела на свой свет — к молодости, вниманию, деньгам. Дочь летела на свой — к нему, к отцу, к его мифическому гению. И все они, эти жуки, сталкивались, падали, шумели крыльями, мешая друг другу.

Он подошел к мольберту. Лиза смотрела на него влажными глазами. Он взял кисть, макнул сначала в разбавитель «тройник», затем в белила, смешанные с малой толикой индиго, чтобы передать лунный холод... и замер.

За спиной послышался скрип тормозов. Затем — звонок. Не тот, скандальный, что был у Пал Палыча, а короткий, настойчивый. Галерист. Артурчик. Машина цвета больного зуба. Вернулась Ольга.

Лиза метнулась к окну и, припав к стеклу, прошептала с болью и какой-то надменностью, которой он раньше за ней не наблюдал:

«Пап... Он... он ее не вышел проводить! Стоит у машины и телефоном светит!»

Виктор Викторович взглянул в окно. Действительно, в свете уличного фонаря виднелась фигура в модной куртке с британским флагом во всю спину. Артур светил экраном своего телефона на землю, будто ища упавшую монетку. Жук. Очередной жук, летящий на свой холодный, электрический свет.

Жуковсков медленно повернулся к холсту. Лунный диск, набросанный углем, зиял пустотой. Он поднял кисть. Ему нужно было написать Луну. Луну Правды для Лизы. Луну, которая в его голове была похожа на огромного, поджавшего лапки и спрятавшего голову, огромного экзотического жука.

И он начал.

Он водил кистью по холсту, пытаясь поймать тот самый, Лизин, «свет правды». Но получалась лишь бледная, масляная лепешка, плоская и безжизненная. Лунный свет, такой величественный и холодный за окном, на холсте упорно напоминал старинную потертую монету. Виктор Викторович отступал, прищуривался, снова бросался в атаку, но магия ускользала. Он был жуком, пытавшимся нарисовать солнце.

«Пап, она же... живая! — шептала Лиза, уже сонная, кутаясь в его старый, пропахший скипидаром халат. — А у тебя она мертвая. Ты ее слишком сильно любишь, вот она и боится».

Эта детская гениальность резанула его больше любой критики. Он и правда любил ее, эту луну. Как единственного безмолвного свидетеля его краха. И она ему мстила холодным равнодушием на холсте.

Внезапно в доме внизу хлопнула дверь. Послышались шаги — твердые, каблучковые, отрывистые. Ольга. Лиза мгновенно превратилась в сторожевого пса, вся напрягшись.

Жена вошла в мастерскую, не стуча. Она остановилась на пороге, окидывая их с отцом насмешливым, усталым взглядом. Ее платье все так же пахло чужим парфюмом, но в глазах не было ни намека на встречу с искусством — только скука и раздражение.

«Лунный бред в самом разгаре? — произнесла она, и слова ее повисли в воздухе, как кристаллики яда. — Виктор, тебе шестьдесят три, а не шестнадцать. Или ты всерьез надеешься, что этот примитивный блин вернет тебе былую славу?»

«Мама!» — вскрикнула Лиза, вставая между отцом и матерью, как маленький щит. — «Это будет гениально! Папа гений! А твой Артурчик... он ничего не понимает! Он... он... жук!» — выпалила она.

Ольга расхохоталась, и смех ее был сухим и трескучим, как ветка под ногой грибника.

«Ах, Боже мой! Какая метафора! Жук! У вас тут, я смотрю, целое энтомологическое действо разворачивается. Всё логично».

Виктор Викторович молчал. Он смотрел на жену, на ее размалеванное, уставшее лицо, и видел не злую фурию, а такую же, как он, побитую молью ночную бабочку, только летевшую на другой, более яркий, но такой же обманчивый свет.

В этот момент зазвонил ее телефон. Ольга отшатнулась, глянула на экран, и лицо ее просветлело. «Артур. Поговорил со спонсором», — прошелестела она, прикладывая трубку к уху с подобострастной улыбкой. «Да, Артурчик, очень рада тебя слышать...». Как будто расстались они не полчаса назад, а в прошлом году.

Но улыбка медленно сползла с ее лица, как маска из расплавленного воска. Она не произносила больше ни слова, лишь слушала, и с каждой секундой ее поза становилась все более сгорбленной, жучьей.

«Я... я понимаю, — наконец выдавила она глухим, не своим голосом. — Да. Ничего не поделаешь. Цифровое искусство... да, это тренд. Хорошо. До свидания».

Она опустила руку с телефоном, и аппарат со стуком упал на пол. Ольга стояла, не двигаясь, глядя в пустоту. Известие о том, что спонсор решил вдруг «переключился на цифровое искусство», добило ее окончательно. Рухнула последняя надежда, последняя ниточка, связывавшая ее с миром, в котором она еще могла чувствовать себя молодой и нужной. Она была не просто раздосадована — она была уничтожена.

— Ничего? — тихо спросил Виктор Викторович.

Она медленно повернулась и, не глядя ни на него, ни на Лизу, ни на незаконченную луну, вышла из мастерской. Ее уход был красноречивее любой истерики.

Лиза хотела было что-то сказать, но отец молча положил руку ей на голову. «Иди спать, звездочка моя. На сегодня видимо все».

Она послушно, вся в слезах, поплелась в свою комнату, оставив его одного.

Мастерская погрузилась в тишину, нарушаемую лишь глухими, ритмичными стуками о стекло. Стук. Пауза. Стук. Настоящие, маленькие ночные жуки бились в оконное стекло, привлеченные светом его лампы. Они летели на его свет, как он когда-то летел на свет славы, как Ольга летела на свет молодости, как Лиза летела на свет его любви.

Он подошел к мольберту. Бледная луна-лепешка смотрела на него с холста с тупым безразличием. Он был Жуковсков. Не Жуков, не Жуковский и даже не Жучков. Жуковсков. И в этой нелепой, непроизносимой фамилии не было проклятия. В ней был просто факт. Констатация его природы. Он — жук, летящий на свет. Да, он бьется лбом о холодное стекло непонимания, измен, житейской пошлости. Он устал, он потерпел крах, его живопись во главе с «Сентябрьским этюдом» никому не нужна, жена его презирает, а луну он написать не может.

Но он смотрит на этих маленьких, упрямых жуков, бьющихся о стекло. Они не сдаются. Они не знают, зачем они это делают, но они летят.

Он взял палитру, нашел тюбик с ультрамарином, смешал его с черным. Он не знал, смеяться ему или плакать. И он решил не делать ни того, ни другого.

Виктор Викторович Жуковсков подошел к холсту и сделал первый уверенный и мощный мазок. Он полетел, не задумываясь о препятствиях на пути.

Все забыли про Йоулупукки

Дорогой читатель, если вы думаете, что в наши дни вся жизненная философия сидит в умных книжках с золотым обрезом или в дорогих психологических курсах, то вы, простите за прямоту, глубоко ошибаетесь. Философия, она, знаете ли, как кошка в подъезде — шныряет где попало и выходит навстречу именно тогда, когда ее совсем не ждешь. Вот и у меня она вышла навстречу, можно сказать, в канун Нового Года и притом в образе одного почтенного старикана, о котором и пойдет наш разговор.

Дело было в один из последних дней декабря. Город наш, понятное дело, сиял, как новый рубль, только что выкатившийся из монетного двора. Окна жителей сверкали наряженными елками, в витринах магазинов и магазинчиков мигали гирлянды, а с неба сыпалась та самая снежная пыль, которая не столько падает, сколько кружится на месте, создавая иллюзию деятельности. Народ, разгоряченный ожидаемыми предпраздничными покупками и не менее ожидаемыми праздничными возлияниями, шумел и балагурил.

Пребывая в некоторой задумчивости, я шел к своему приятелю, Семену Аркадьевичу, на праздничный ужин. А поскольку душа моя, воспитанная на этике некогда большой и могучей страны, не терпит являться в гости с пустыми руками, пришлось зайти в один супермаркет, что на площади, дабы приобрести бутылку хорошего шампанского и коробку конфет для супруги Семена Аркадьевича, женщины, надо сказать, строгой.

И вот, проходя мимо отдела с искусственными елями, я узрел картину, которая и послужила началом всей этой истории. Возле горки с подарочной бумагой стоял он. Нет, вы не подумайте, что это был какой-то бездомный или человек в неадекватном состоянии. Напротив. Это был мужчина почтенного возраста, лет примерно семидесяти, с длинной седой бородой, в добротном, хоть и несколько старомодном, красном кафтане, отороченном белым мехом. На ногах — сапоги из мягкой кожи, на голове — такая же красная шапка. Лицо у него было румяное, доброе, но в глазах стояла такая бездонная, экзистенциальная тоска, что я сразу позабыл и про шампанское, и про конфеты.

Он просто стоял и смотрел на суету. А суета, надо сказать, кипела вокруг него, как вода в кастрюле с пельменями. Мимо сновали граждане с тележками, нагруженными до предела, кричали дети, трещали кассовые аппараты. Но его никто не замечал. Совсем. Как будто он был невидимкой или прозрачным пятном на ярком фоне потребительского рая.

Меня, знаете ли, это задело. Подхожу я к нему вежливо так, и говорю:

— Простите, гражданин, у вас что, неприятность? Может, помощь требуется?

Он медленно повернул ко мне свою бороду, и взгляд его голубых глаз, словно два осколка зимнего неба, пронзил меня насквозь.

— Помощь? — переспросил он голосом, в котором звенели колокольчики далеких снежных равнин. — Боюсь, мой друг, ты бессилен. Меня забыли.

— Как забыли? — удивился я. — Вы, может, адрес потеряли? Или вас здесь должны были встретить? Скажите вашу фамилию, я по мобильному телефону позвоню, кому скажете.

Он горько усмехнулся.

— Фамилия... У нас там, на Севере, фамилий не полагается. Зовут меня Йоулупукки.

Я, признаться, опешил. Имя показалось мне знакомым, но с ходу и не вспомнишь.

— Юл... Юла-пук... Простите, как?

— Йоулупукки, — терпеливо повторил он. — В некоторых регионах меня знают как Санта-Клауса. А в ваших краях, если память не изменяет, когда-то звали Дедом Морозом.

Тут у меня, дорогой читатель, в голове что-то шелкнуло. Я отшатнулся.

— Так вы... Вы и есть тот самый? С оленями... с подарками... который через трубу?

— Именно, тот самый, — кивнул он печально. — Но, как видишь, олени разбежались искать лучшей доли в каком-нибудь парке аттракционов. Мешок с подарками я оставил в камере хранения, ибо тащить его стало тяжело — никто не берет. А про трубу и говорить нечего. В современных многоэтажках труб нет. Да и я, кажется, уже никому не нужен.

Мы вышли из супермаркета и присели на скамейку у входа. Морозец пощипывал щеки, а из соседней кофейни доносился запах глинтвейна. Йоулупукки, к которому я уже начал при-
выкать, тяжело вздохнул и начал свой рассказ. А рассказ его, я вам доложу, был с одной стороны достаточно прост констатируя реалии, а с другой до того философский, что любой мудрец от зависти бы поседел.

— Видишь ли, в чем штука, — начал он, поправляя свою шапку. — Раньше был смысл. Ребенок писал письмо. Старался, каллиграфию выводил. Потом целый год вел себя хорошо — ну, относительно хорошо, — чтобы заслужить подарок. Было ожидание. Было таинство. А теперь? — Он махнул рукой в сторону толпы. — Теперь все это.

Я посмотрел. Отец семейства тащил три одинаковых картонных коробки с игровыми приставками. Две дамы громко обсуждали скидки на смартфоны. Молодой человек покупал у уличного торговца огромного розового плюшевого медведя с глазами, как у инопланетянина.

— Что «все это»? — не понял я.

— Потребление, друг мой. Эпоха потребления. — пояснил Йоулупукки. — Исчезло ожидание. Исчезла заслуга. Исчезла даже элементарная вежливость. Раньше мне оставляли на столе печенье и молоко. А сейчас? Я в прошлом году попал в одну квартиру — так меня там чуть собакой не травили, как какого-то рецидивиста. Какой-то бульдог, скажу я тебе, злющий. Еле ноги унес.

Я слушал и чувствовал, как во мне просыпается не то что сочувствие, а какое-то гражданское негодование.

— Но ведь дети-то верят! — попытался я возразить.

Йоулупукки посмотрел на меня с такой бесконечной жалостью, что я сразу смолк.

— Дети? Современные дети в пять лет уже имеют большие данные, чем я за всю свою тысячулетнюю практику. Они пишут письма не мне, а в службу поддержки интернет-магазина. Они не верят в чудеса, они верят в скорость доставки. «Папа, — говорят, — а этот дед мороз привезет заказ до девяти вечера или как всегда, на следующий день?» Я им стал не волшебником, а курьером. Причем курьером медленным и технологически отсталым. Без трек-номера, понимаешь? Без смс-уведомления. Да я сам в этих ваших айфонах ничего понять не могу! Кнопки там всякие, они не нажимаются, а свайпаются, или как это...

Он замолчал, и мы сидели в тишине, слушая, как где-то далеко сигналит машина.

— А Снегурочка ваша где? — спросил я, чтобы разрядить обстановку.

Лицо моего собеседника исказилось гримасой боли.

— Анечка... — прошептал он. — Ушла. Сначала стала инфлюенсершей. Вела блог «Записки снежной королевы». Потом уехала в теплые края, сказала, что у нее ревматизм от вечной мерзлоты начинается. В прошлом месяце видел ее фото в соцсети — загорелая, на яхте, с каким-то продюсером. Говорит, что нашла себя в эко-туризме и йоге. А я... — он вздохнул. — А я так и остался. С бородой, в валенках, с устаревшей парадигмой дарения.

Тут во мне заговорила жилка сострадания.

— Так, — сказал я решительно. — Сидеть и горевать — не дело. Пойдемте со мной. Я как раз собрался к приятелю, зовут Семен Аркадьевич. Люди они с супругой простые, небогатые, но душевные. У них и ребенок есть, мальчик, Глеб. Ему девять. Может, он еще не совсем испорчен всеми этими... интернетами.

Старикан посмотрел на меня с сомнением, но встал. Видно было, что терять ему уже нечего.

Дорогой читатель, то, что произошло дальше, сложно описать без слез. Но я попробую.

Пришли мы к Семену Аркадьевичу. Открывает дверь его супруга, Валентина Петровна. Увидела нас — и глаза у нее округлились.

— Это еще кто? — спрашивает строго.

Я, недолго думая, представляю:

— Это, милейшая Валентина Петровна, коллега мой по цеху... Михал Михалыч. Из Великого Устюга, командировочный. Я его, значит, пригласил... в надежде, что вы не будете возражать.

Валентина Петровна смерила Йоулупукки взглядом, заметила его старомодный, но чистый кафтан и, скрепя сердце, впустила.

В квартире пахло мандаринами и гусем. За столом сидел Семен Аркадьевич, уже порозовевший от рюмки-другой, и его сын Глеб, который увлеченно воевал в планшете со свездными пиратами.

— А, вот и ты! — обрадовался Семен Аркадьевич. — А это кто с тобой? Прямо Дед Мороз местного разлива!

Йоулупукки смущенно поклонился. Мы сели за стол. Поначалу было неловко. Валентина Петровна косилась на бороду гостя, а Глеб, подняв голову, пробурчал: «Прикольный костюмчик» — и снова уткнулся в планшет.

Но тут произошло нечто. Йоулупукки, выпив рюмку портвейна (коньяка он не употребляет, говорит, он слишком «расшевеливает» его сердце), вдруг ожил. И начал рассказывать. Не сказки, нет. Он начал живописно рассказывать про настоящий Север. Про то, как полярное сияние играет на льдах, словно живое. Про оленей, которые на самом деле не летают, но бегут так, что дух захватывает, а снег при этом искрится, как пыль из маленьких драгоценных камней. Про то, как пахнет хвойный лес в тридцатиградусный мороз. Про тишину, такую громкую, что в ушах звенит.

И постепенно все замолкли. Даже Глеб отложил свой планшет и смотрел на старика, разинув рот.

— А подарки ты правда сам делаешь? — спросил он наконец.

— Конечно, — сказал Йоулупукки, и в его глазах зажглись те самые, настоящие, добрые огоньки. — Мои помощники, гномы, мы все вместе. Местное производство, понимаешь ли, не китайское. Мы из дерева резные лошадки делаем, из шерсти валяем медвежат, книги переплетаем... Настоящие подарки. Не просто вещь, а... кусочек души.

— А мне папа сказал, что подарки ты в магазине покупаешь, потому что ты — бренд, — скептически заметил Глеб.

Йоулупукки вздохнул.

— Вот видишь, как люди все испортили. Они все превратили в бренд. А секрет в том, что настоящее чудо нельзя купить. Его можно только заслужить. Добрым поступком. Терпением. Хорошей мыслью. И тогда оно само приходит. Без трек-номера.

В комнате воцарилась тишина. Было слышно, как за окном шуршит снег. И в этой тишине Глеб, глядя на Йоулупукки не отрываясь, прошептал:

— Я... я в этом году старался. Бабушке помогал, посуду мыл. И двойки по математике все исправил.

И тут Йоулупукки совершил то, ради чего, наверное, и пришел в этот мир. Он негромко щелкнул пальцами. И... о чудо! Хотя какое уж тут чудо, просто совпадение, конечно. Но в этот самый момент на елке, в самом ее верху, зажглась та единственная гирлянда, которая никак не хотела работать. Зажглась тихим, теплым, немерцающим светом.

Глеб ахнул. И в его глазах вспыхнула та самая, настоящая, детская вера. Та, ради которой все и затевалось.

Больше мы того почтенного деда не видели. Ушел он как-то незаметно, пока мы пили чай. Но на столе осталась маленькая, мастерски вырезанная из дерева лошадка. Теперь она стоит у Глеба на полке. Рядом с планшетом.

А я вот что думаю, дорогой читатель. Мы все так гонимся за новым, быстрым, удобным, что забываем спросить: а нужно ли это нашей душе? Может, она, душа-то, как тот самый Глеб, хочет не очередной гаджет с увеличенной памятью, а простую деревянную лошадку? Не смску с уведомлением о скидке, а тихого чуда, которое приходит без трек-номера, просто потому, что ты в него веришь и немножко его заслужил.

Вот такой вышел у меня философский урок под Новый год. От деда, которого все забыли. Но который, я уверен, нас еще не забыл. Просто ждет, когда мы сами, без напоминаний, вспомним, что помимо кошелька и корзины в интернет-магазине, у нас есть еще кое-что. Нечто вечное. Называется — душа.

Торричеллиева пустота

Иван Степанович Морозов сидел на кухне, вглядываясь в дно пустой чашки, как в перекошенный колодец, из которого уже не вытянуть ни ведро воды, ни каплю смысла. Чашка была с надписью «Самому лучшему папе», подаренная лет пятнадцать назад дочерью Катей. Надпись затерлась, позолота слезла, но чашка оставалась его главным атрибутом утренних и вечерних медитаций. Медитации эти заключались в молчаливом созерцании жены, Людмилы, которая с каменным лицом размораживала холодильник или, шурясь от сигаретного дыма, листала ленту популярной социальной сети, где бывшие однокурсники хвастались поездками в Грузию и подрастающими внуками.

Иван Степанович не любил Людмилу. Осознал он это не вдруг, а как-то плавно и неотвратимо, словно сползал по пологому, но сыпучему склону, на который взобрался когда-то в молодости по глупости и потому, что все вокруг взбирались. Лезут — и я полезу. Жениться надо, женюсь. Людмила была из хорошей, по меркам общаги, семьи: отец — инженер, мать — бухгалтер. Сама — миловидная, с пышными формами, обещавшими уют и сытный обед. Обещания, впрочем, оказались ничтожными, как реклама чудо-средства для похудения. Уют испарился в первый же год, сменившись вялотекущей холодной войной, а сытные обеды трансформировались в вечные диеты и контейнеры с вареной гречкой.

Но он был верен. Как сторожевой пес в конуре возле дома, в котором уже никто не живет. Не из высоких моральных соображений, а скорее из консерватизма, врожденного чувства долга, похожего на хроническую болезнь, и смутного понимания, что все это — театр абсурда, в котором его роль — молчаливый статист. Он был писателем, не самым известным, но с именем. Публиковался в толстых журналах, выпустил три сборника рассказов. Критики писали о нем: «Ну прямо ... (называлось имя популярного и острого прозаика) с его язвительным взглядом на советскую, а затем и российскую действительность...» А вот на свою собственную действительность язвительного взгляда у него не хватало духа.

Людмила изменяла ему. Он догадывался об этом почти с самого начала. Сначала это были странные звонки, обрывавшиеся при его появлении, потом — затяжные «девичники» у подружки Маринки, известной на весь их микрорайон авантюристки с тремя разводами за плечами. Потом пошли командировки, во время которых знакомые смотрели на Ивана Степановича с таким неподдельным сочувствием, что ему хотелось либо разрыдаться, либо дать комунибудь в ухо. Он не делал ни того, ни другого.

Однажды, лет десять назад, он нашел в ее сумочке чек из ювелирного магазина на серьги с сапфирами. Таких серег он Людмиле никогда не дарил, а купить их сама она ни за что не смогла бы. В тот вечер он поднял руку, чтобы швырнуть чек ей в лицо, но рука повисла в воздухе, а сам он произнес странную, отретпетированную в голове фразу:

— Люда, у нас, кажется, мыши завелись. В хлебницу залезают.

Она посмотрела на него с нескрываемым презрением.

— Ты бы лучше роман свой дописал, а не за мышами следил. Мужчина должен деньги в дом носить, а не листать целый день словарь Даля.

Он дописал тот роман. Его издали мизерным тиражом, и он провалился в торричеллиеву пустоту читательского равнодушия. Это был его любимый термин. Торричеллиева пустота. Вакуум, который образуется, когда из сосуда откачают воздух. Идеальная метафора его брака, его творческого кризиса, его жизни.

Единственным живым существом в этом вакууме была их дочь Катя. Умная, колючая, с насмешливыми глазами, в которые она, казалось, впитывала всю домашнюю ложь, чтобы потом переработать ее в сарказм. Она с детства была за отца. Не в смысле открытых конфликтов — нет, она была слишком умна для истерик. Но это читалось в мелочах. В том, как она молча

подливала ему чай, когда Людмила устраивала очередной скандал из-за немытой посуды. В том, как она говорила: «Пап, почитай мне что-нибудь свое», — в то время как мать фыркала: «Опять эту свою тоску зеленую». В том, как на ее лице застывало ледяное выражение, когда мать, нарядившись в новое платье сомнительного фасона, заявляла: «Я к Маринке, у нее проблемы».

— Пап, — сказала как-то Катя, уже будучи студенткой, застав его за созерцанием пустой чашки. — Ты знаешь, почему торричеллиева пустота так опасна?

— Почему? — оживился Иван Степанович, всегда радуясь возможности поговорить с дочерью не о погоде.

— Потому что ее невозможно заполнить ничем. Никаким газом. Только разбив трубку. Ты должен разбить трубку, пап. Слышишь? Разбить.

Он слышал. Но боялся осколков.

Развод инициировала Людмила. Это был ее коронный номер, финальный аккорд в симфонии лжи. Она пришла с работы возбужденная, с сияющими глазами.

— Ваня, нам надо поговорить.

«Ваня» — это звучало зловеще. «Ваня» бывало только перед просьбой дать денег на шубу или когда она чувствовала себя виновной после особенно долгой «проблемы у Маринки».

— Говори, — он отложил книгу.

— Я встретила другого человека. Это серьезно. Мы с тобой давно чужие. Я не могу больше дышать этим воздухом. Я задыхаюсь!

Иван Степанович посмотрел на нее и подумал: «Какая драматизация. Настоящая торричеллиева пустота не давит, она просто ничего не дает. Ни воздуха, ни жизни. А ты как раз всегда дышала полной грудью, только не здесь».

Вслух он сказал:

— Понятно. И кто же этот счастливчик? Не усатый же начальник твой Аркадий Петрович?

Лицо Людмилы исказилось гримасой брезгливости.

— При чем тут Аркадий? Я говорю о высоких чувствах! О настоящем! Его зовут Олег. Он... бизнесмен.

«Бизнесмен», — мысленно повторил Иван Степанович. Слово, которое в ее устах звучало как «посланник богов».

— У него свой бизнес. Поставки сантехники, — добавила она, не моргнув глазом.

Иван Степанович фыркнул. Он не мог сдержаться. Сантехника. Символично до слез. Весь их брак был одной большой засорившейся канализацией.

— Что ты ухмыляешься? — вспыхнула Людмила. — Ты думаешь, легко было все эти годы жить с тобой? С твоими книжками, твоими вечными размышлениями? Ты не мужчина! Ты тень!

«Торричеллиева пустота, — подумал он. — Я и есть эта пустота. А тени не бывает там, где нет света».

— Хорошо, — сказал он вслух. — Разводись.

Она ждала сцен, упреков, может быть, даже мольбы. Его спокойствие обескуражило ее.

— Ты... ты ничего не хочешь спросить?

— Нет. Дай только знать, когда съезжать. Я сниму что-нибудь маленькое однокомнатное, но эта все равно останется моей, и это мое единственное условие. Пропишешься у своего сантехника.

Процесс развода был стремительным и безэмоциональным. Катя помогала отцу собирать вещи. Молча, аккуратно складывая его книги в картонные коробки.

— Мама сказала, что ты принял все слишком трусливо, — как-то раз, усмехнувшись, сообщила она.

— А что, по-твоему, надо было делать? — спросил он.

— Устроить итальянский скандал? Разбить вазу о пол? Выкинуть ее вещи из окна?

— Нет, — Катя затянула скотчем коробку. — Ты поступил как папа. Просто ушел из банки, в которой закончился воздух. И все.

Он снял небольшую однокомнатную квартиру на окраине, в панельной хрущевке. Первые дни ходил по ней, как неприкаянный призрак. Тишина. Никаких скандалов, никаких упреков, никакого вранья. Он включал чайник, когда хотел. Мог сесть за компьютер в два часа ночи. Мог не бриться неделю. Эта свобода была непривычной и пугающей. Он чувствовал себя космонавтом, вышедшим в открытый космос без страховочного троса. Вакуум. Тот самый. Но странное дело — в этом вакууме, созданном его собственным выбором, ему стало дышаться легче.

Он сел за новый роман. Не о семейных драмах, не о предательстве, а о чем-то совершенно ином. О человеке, который решил построить воздушный шар и улететь из города, где все друг друга ненавидят из вежливости. Писал с остервенением, с наслаждением, которого не знал годами. Слова лились сами, будто их все это время сдерживала плотина по имени Людмила.

Он отправил рукопись в издательство, почти не надеясь. Ему ответили через неделю. Восторженно. Предложили контракт. Аванс. Его роман «Отцы и эти» (каламбур, который оценили) стал событием. Критики, десятилетиями его игнорировавшие, вдруг открыли «само-бытного автора, тонкого стилиста и пронзительного лирика». Его приглашали на телевидение, брали интервью. Иван Степанович, всегда сторонившийся публичности, с удивлением обнаружил, что ему это нравится. Он научился отвечать на каверзные вопросы с тем самым сарказмом, который раньше прятал.

Как-то раз, уже после выхода книги, он сидел в кафе с Катей. Она пила капучино, он — эспрессо из новой, простой белой чашки.

— Знаешь, пап, — сказала Катя, — мама звонила.

— И как дела у сантехнического магната? — поинтересовался он без тени злобы.

— Магнат оказался женат. И сантехника у него, мягко говоря, подтекает. Они с мамой уже расстались. Она теперь говорит, что ты был ее единственной настоящей любовью, а она просто боялась твоего величия.

Иван Степанович рассмеялся. Искренне, от души.

— Величие в однокомнатной хрущевке? Сильно. Ты знаешь, что такое торричеллиева пустота по-людмилиньски?

— Что?

— Это когда ты выкачиваешь из человека весь воздух, а потом предъявляешь претензии, что он не дышит и не шевелится.

Катя улыбнулась.

— А знаешь, что такое торричеллиева пустота по-морозовски?

Он покачал головой.

— Это пространство, которое остается после того, как убрали все лишнее. И в которое, оказывается, можно запустить целый дирижабль. Твой роман — он и есть тот дирижабль.

Он посмотрел на дочь, на ее умные, понимающие глаза, и почувствовал, как по его щеке скатывается смешная, пожилая слеза. Слезка не горя, а счастья. Свободы. Он вышел из банки. Он разбил трубку. И оказалось, что мир за ее пределами полон не пустоты, а чистого, свежего, ничем не отравленного воздуха.

— Кать, — сказал он. — Давай-ка закажем еще по кружке. И кусок торта. Самого большого.

— Тебе нельзя, холестерин, — автоматически сказала она, подражая матери.

— А кто мне теперь что-то запретит? — весело возразил Иван Степанович. — Я свободный человек. И, кажется, наконец-то счастливый.

И он был прав. Счастье, как выяснилось, не в том, чтобы заполнить пустоту, а в том, чтобы найти правильный вакуум для своего дирижабля.

Пафос и Гумус, или компот для Александра Македонского

Глава 1. В которой нас знакомят с храмом словесности и его жрецами

Редакция журнала «Пафос и Гумус» располагалась в старом, пахнущем историей и мышами здании, некогда принадлежавшем Союзу писателей. Комнатушка на пятом этаже походила на склад неудавшихся судебных и пожелтевших рукописей. Воздух был густым коктейлем из ароматов старой бумаги, пыли, дешевого кофе и тления амбиций.

Во главе стола, как капитан у штурвала тонущего корабля, восседал главный редактор, Виктор Семенович Лопухов. Человек в возрасте, чьи амбиции когда-то простирались дальше, чем сохранение тиража его журнала, а теперь свелись к искусству выбивания финансирования у министерства культуры и удержанию в узде своего пестрого коллектива. Он любил повторять: «Мы — последний оплот интеллектуальной России в океане попсы!» При этом сам втайне зачитывался детективами про «кровь на паркете», но считал это своей маленькой слабостью, вроде тайного пристрастия к «Кагору».

Его правая рука и, по совместительству, главный внутренний раздражитель — замглавреда Марина Аркадьевна, женщина с лицом главбуха и душой инквизитора. Она ведала распорядком, дисциплиной и тем, чтобы в кофеварке не заводилась посторонняя жизнь. Ее девизом было: «Творчество — это, конечно, хорошо, но по смете мы не проходим».

А был еще у них литературный критик, Анатолий Маркович. Сухонький, вечно недовольный мужчина, похожий на сердитого хорька в очках. Он ненавидел все опубликованное после 1917 года, но особенно — все, что публиковалось сейчас. Его критические статьи были похожи на залпы тяжелой артиллерии не то, что по воробьям, а скорее по колибри. Он искренне считал, что спасает мир от бездарности, но миру было плевать, и от этого был глубоко несчастен.

Представителем молодежи являлся один-единственный сотрудник — практикант Сережа, недавний «филфак». Он пришел сюда с горящими глазами и томиком Бродского в рюкзаке. Но через месяц глаза потухли, а Бродского он тихо возненавидел, потому что Анатолий Маркович требовал от него справки на каждую цитату, даже из двух слов.

И, наконец, жемчужина коллектива, его муза и вечный двигатель абсурда — литературный редактор Галина Петровна, дама бальзаковского возраста с пышной прической цвета меди (оттенок «осенний клен», как она утверждала, хотя был он ближе к «медной монете 18 века», которая была в ходу весь этот век и последующие тоже). Галина Петровна обожала возвышенные темы, космическую любовь и была уверена, что любая бытовая проблема решается через призму мировой литературы.

Их собрала воедино очередная планерка. Виктор Семенович, откашлявшись, объявил:

— Коллеги! Подошло время готовить новый номер. Тема, как вы знаете, «Великие полководцы и их внутренний мир». Идея Министерства. Нужны свежие, яркие материалы!

В комнате повисла тишина, которую можно было резать ножом, если бы этот нож был в смете.

— Виктор Семенович, — просипел Анатолий Маркович, — а вы не задумывались, что внутренний мир полководца — это прежде всего его походная кухня и состояние обозов? Я могу написать рецензию на неопубликованные мемуары одного адъютанта генерала Скобелева. Там есть гениальные пассажи про то, как тухла баранина в жарком климате. Это куда важнее всех их стратегий!

— Анатолий Маркович, мы литературный журнал, а не «Вокруг света», — вздохнул Виктор Семенович. — Нужен пафос. Размах. Чингисхан как философ. Наполеон как романтик.

— Наполеон как романтик кончился на Святой Елене, убитый то ли язвой, то ли мышьяком, — мрачно буркнул критик.

— Галочка, — Виктор Семенович повернулся к Галине Петровне, ища спасения. — Может, у вас есть идея?

Галина Петровна, которая в этот момент задумчиво смотрела в окно, где на подоконнике сидел воробей, повернула к нему сияющее лицо.

— Виктор Семенович! А ведь это гениально! Я только что подумала... Александр Македонский. Величие. Скорбь о любимом коне Буцефале. А что, если он любил не только коня? Что, если у него была тайная страсть... к компоту?

Сережа, делающий вид, что конспектирует, поперхнулся кофе.

— К... компоту? — не поверил своим ушам Виктор Семенович.

— Ну да! — воодушевилась Галина Петровна. — Представьте: жаркая Вавилония. Пыль. Кровь. А он, великий завоеватель, сидит в своем шатре и тоскует по простому, такому родному греческому компоту! Из яблок и груш! Это же какой контраст! Какая глубина характера! Статья так и будет называться: «Слеза полководца, или Фруктовый соблазн Александра Македонского».

Марина Аркадьевна, не отрываясь от калькулятора, процедила:

— Компот не по смете. Статья о компоте — это реклама пищевой продукции. Нужно закладывать отдельную строку расходов.

— Марина Аркадьевна, это же метафора! — всплеснула руками Галина Петровна.

— Метафора тоже бюджетом не предусмотрена, — был железный ответ.

Виктор Семенович почувствовал, как начинает дергаться глаз. Его корабль давал течь.

Глава 2. В которой Сережа отправляется на поиски истины, а находит нечто большее

Сереже поручили найти иллюстрации для будущего шедевра. «Иди в библиотеку, — сказал Виктор Семенович, — найди гравюры, батальные сцены. Что-нибудь пафосное». Сережа пошел. Но не в библиотеку. Он отправился в ближайший сквер, сел на скамейку и уставился на голубей, чувствуя себя последним идиотом. «Компот Александра Македонского... — думал он. — Я пять лет учил старославянский для этого?»

Рядом с ним присела девушка, лет двадцати пяти, с умными, веселыми глазами и толстой папкой в руках. Она заметила его мученическое выражение лица.

— Похмелье? — участливо спросила она.

— Хуже, — честно признался Сережа. — Работа.

— А что делаете?

Сережа вздохнул и, слегка приукрасив, рассказал про журнал, полководцев и компот.

Девушка расхохоталась. Не злобно, а как-то по-доброму, солнечно.

— Здорово! А мне вот каталог для художественной школы делать. «Основы композиции для начинающих». Скучища. Давайте поменяемся?

Они разговорились. Девушку звали Катя, она была художником-графиком на вольных хлебах. Сережа, забыв про все на свете, рассказывал ей про абсурд редакционной жизни, про Анатолия Марковича, про Марину Аркадьевну, про метафоры, не входящие в смету. Катя заразительно смеялась до слез.

— Знаешь, — сказала она на прощание, — твой журнал — это же готовый комикс. Золотой материал! Дай мне твой номер, я, может, нарисую что-нибудь про твоего Македонского. Для разрядки.

Сережа, окрыленный, вернулся в редакцию. Он не нашел ни одной гравюры, но чувствовал себя так, будто завоевал весь мир. Без компота.

Глава 3. В которой Анатолий Маркович объявляет войну миру, а Марина Аркадьевна — безобразию

Тем временем в редакции бушевали страсти. Анатолий Маркович, придя утром, обнаружил, что его любимая кружка (с портретом Льва Толстого в молодости) вымыта. И не просто вымыта, а вымыта каким-то заграничным моющим средством, пахнущим лимоном.

— Это вандализм! — кричал он, тряся кружкой перед лицом бесстрастной Марины Аркадьевны. — На ней был благородный налет времени! Пatina! Теперь она пахнет как общественный туалет после уборки! Вы уничтожили ауру!

— Аура по СанПиНу не проходит, Анатолий Маркович. Были микробы.

— Микробы — это часть экосистемы творческого процесса! Толстой, я уверен, и не в таких условиях творил!

В этот момент зашел Сережа с сияющим лицом.

— Коллеги, у меня идея! Мы можем сделать материал не только пафосным, но и современным! Добавить инфографику, может, даже... комикс?

Повисла мертвая тишина. Анатолий Маркович побледнел, как полотно.

— Комикс... — прошептал он с ужасом, глядя на Сережу, как на исчадие ада. — Ты... ты предлагаешь совместить Александра Македонского с этим... попсовым ширпотребом? Это хуже, чем микробы! Это идеологическая диверсия! Я подаю в отставку!

Он схватил портфель и демонстративно направился к выходу, но, поскольку никто его не остановил, ему пришлось так же демонстративно вернуться за забытыми очками.

Марина Аркадьевна подняла на Сережу холодный взгляд.

— Комикс — это графика. Графика — это работа художника. Художник — это гонорар. Гонорара в смете нет.

Виктор Семенович, чувствуя, что ситуация окончательно выходит из-под контроля, простонал:

— Коллеги, давайте без крайностей! Комиксы — это, конечно, перебор. Но инфографика... «Маршруты походов Александра в инфографике»... Это звучит современно. Министерству может понравиться.

Галина Петровна, до этого момента молча перебирающая бумаги, вдруг подняла голову. В ее глазах горел огонь озарения.

— Анатолий Маркович прав! — заявила она.

Все остолбенели. Анатолий Маркович даже очки поправил, чтобы лучше разглядеть это чудо.

— В отставке есть своя поэзия! — продолжала Галина Петровна. — Уход от суеты. Протест против опошления великой темы! Это же чистый романтизм байронического героя! Анатолий Маркович, вы — наш Чайлд-Гарольд!

Анатолий Маркович, никогда в жизни не ассоциировавший себя ни с чем романтическим, смущенно хмыкнул и отложил портфель в сторону. Война с микробами была временно забыта.

Глава 4. В которой появляется нечто, не предусмотренное сметой

Через несколько дней Сережа тайком от всех принес в редакцию распечатанный лист. Это был тот самый «комикс», который нарисовала Катя. На картинке был изображен мультяшный Александр Македонский в огромном шлеме, с тоской смотрящий на карту. Пузырь с мыслями гласил: «Завоевал бы Персию, если бы мама в детстве давала компот?» В углу красовалась веселая подпись: «К. для С.»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.